

Василий Аксёнов
ЗАЗИМОК



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

По тактичному и доброжелательному требованию хозяйки, неожиданно для нас позволившей за три дня до своего возвращения из одной центральноафриканской страны, где в качестве военного врача находилась в длительной командировке, освободив срочно съёмную квартиру на Большой Пушкарской и заселившись временно и «по знакомству» в компактной коммуналке на Большой Зелениной, мы с женой, тогда ещё студенты – я выпускного, а жена четвёртого курса ЛГУ, – и шестилетним сыном стали первым делом выносить на свалку разный хлам, скопившийся в комнате после съехавшего недели за две до этого жильца. Оставил я почему-то заинтересовавшие меня лишь две папки для бумаг с бледной – вторая или третья копия – машинописью. Сдавал госы, защищал диплом, и просмотреть содержимое папок основательно не было времени. Сунул на антресоли и тут же про них забыл. Шесть лет спустя выдалось время. Снимал с антресоли разобранную детскую

кроватьку и наткнулся на забытые там папки. Жена лежала в роддоме с только что появившимся на свет вторым нашим сыном, и, чтобы скоротать время тоскливой разлуки, я взялся за чтение. Текст этот, составленный по монтажному» принципу, – что-то, как мне представилось, вроде набросков для одного романа, двух ли, зарождение и выявление из небытия героя или раздробленное жизнеописание.

(ПАПКА ПЕРВАЯ)

ЗАЗИМОК

Отцу моему посвящается

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Конец пятидесятих годов. Поздняя осень, но снег ещё пока не выпадал, что в наших северных местах бывает редко, обычно к утру Покрова снег уже лежит, слепя отвыкшие от яркой белизны глаза. Гулянка. В складчину. Компания человек в сорок, а то и больше. На этот раз, в порядке очерёдности, собрались в доме у родителей моего детского приятеля, которого и теперь мне хочется назвать не по имени Владимир, а по прозвищу: Охра. Дом старинный, пятистенок. Между кухней и передней – у нас передней называют, как ни странно, не прихожую, а горницу – громоздкая русская печь, с кухни открытая, но от передней обособленная красной ситцевой цветастой занавеской. Нас на печи – что тараканов. Развлекаемся. Уж как умеем и чем можем. Взрослые выпивают, закусывают, громко разговаривают или поют, нам нет до них дела. То один мужик, то другой – из шутников, конечно, серьёзные нас и не замечают – подойдёт, отдернет занавеску и предложит нам отведать из кофейника бражки. Уже отведали: «противная, и голова от неё кружится», – теперь отказываемся. Сами шумим и к шуму общему привык-

ли. И тут вдруг стало тихо-тихо, а чуть позже из-за столов гуляющие вышли, отодвинули столы в сторону, выстроились в две стенки и, друг дружке положив на плечи руки, начали... нет, не было это танцем, не было это пляской, было это просто: топотунья. Мы перестали гомозиться, утихомирились и глазеем по-верх занавески. Я очень остро помню состояние: со-сёт под ложечкой, захватывает дух – и вот ещё: когда взглянул на Охру, заметил я, как на его вихрастой макушке поднялись дыбом волосы, а сам он словно обескровел – так побледнел.

Никогда больше не видел топотуньи, ни у нас в Каменске-Кемском, ни за пределами его, и только раз в жизни испытал похожее чувство, когда смотрел балет испанский в Ленинграде. Это теперь уже, конечно, думаю, что в ту топотунью всё вылилось, что пережито было нашими родителями: гражданская бойня, голод, разбой, коллективизация, расказачивание, спецпереселения, лесоповалы, лесосплавы, страх, война Отечественная, «похоронки», послевоенная разруха, восстановление народного хозяйства, – не хватит времени всё перечислить.

Ну а тогда же, часом, двумя, может, позже.

Разбудила меня мама, разыскав среди спящих моих товарищей, сняла с печи, одела полусонного и вывела на улицу. Шёл снег. Мама сказала: «Вот, год закончился, сынок, начался новый... Всех нас укрыла милосердно Богородица». С тех пор новый год для меня начинается с первого снега.

Вспомнил это как бывшее, а написал, прочитал – и показалось мне, что никогда этого и не было. И тут, возможно, так: мысль высказанная есть ложь – ну, то есть так же.

ПРОЛОГ

Из настезь распахнутого окна – что в ряду третьего этажа, прямо над парадной, – сквозняком, вероятно напуганные, выпорхнули, в мельтешении своём похожие на бабочек-капустниц, листы тонкой, неплотной бумаги. Местный, квартальный ветерок, форточник, тут же кинулся на них, прижал их к шероховатой стене дома, обозначенной скользящим светом северного солнца, некоторое время подержал так, затем отстранил резко, взвил выше нагретой солнцем бурой крыши, густо заляпанной голубиным помётом, и, разобщив, вынес в небо Зеленинского сада. Отступился, разглядев сверху затаившиеся под скамьёй и возле урны едва весомые – как в тихом летнем плёсе водоросли, имени которых не знаю, – едва колеблемые клубки тополиного пуха: напал стремительно, взметнул, рассеял и был таков – подался к Чкаловскому пылью швыряться, мусор гонять да женщинам у ларьков кровь портить, содержимое их сумок проверяя. Плавно бумажный десант приземлился и замер на молодой, мягкой, не стриженной ещё траве.

Вызволив толстеньким указательным пальцем из глаза соринку, разглядев её – как заспиртованный, например, экспонат – и со слезой вместе оставив соринку на обшлагае пёстрой рубашки, со скамьи поднялся неспешно мальчик лет девяти-одиннадцати, может – пятнадцати, а может быть – и сорока, медленно расхаживая и переламываясь в поясе упруго, собрал развеянные ветром листы, а затем, застыв столбиком, как делает это настоорожившийся бурндук, взялся читать на листах отпечатанное, вслух проговаривая при этом слова:

«Обещал напоить тебя чаем, зелёноокая. Чаем я тебя напою. Я только что произнёс: “Напою тебя чаем”. Фраза сорвалась и канула, как градина в пыли. Я бы не мог уже и вспомнить, какой она была и что значила, – лишь на губах осталось ощущение, выветриться которому делов-то – мгновение. Даже оглядываюсь – хочу понять, к кому она, эта фраза, относилась? И вспоминаю: обращена была она к тебе. Иная мысль – и тень её гоню с лица, – иная мысль ленива и случайна, случайна и несостоятельна, а потому, будто подумав только что, я повторяю: “Напою тебя чаем”. Я веду тебя через утренний сад. Ты спрашиваешь: “Как называется он?” Отвечаю: “Зеленинский”. Ты говоришь: “Уютный”. Пока выявляю смысл этого слова, возникает перед глазами кузница возле Каменска-Кемского, подле самого тракта, недалеко от берега Кеми. Работал, прямо в кузнице и жил, лысый, с большим, будто распёртым изнутри чрепом, мрачный кузнец Александров, кто-то из военнопленных окрестил которого Гефестом, но

прозвище это у сельчан ни с чем и ни с кем конкретным не увязывалось, с языка запросто не срывалось, а потому и выпало из обихода скоро. У кузницы в крапиве стояла деревянная, позеленевшая от тины бадья под мшелым желобом поточным. Александров выходил иногда на свет Божий, окачивался из бадьи зацветшей водой, смотрел угрюмо на ельник, затем на нас, мальчишек, за ним из-за забора наблюдающих, и произносил басом: “Уютно, итие”. Услышав это неведомое нам, да и самому кузнецу, вероятно, в значении слово – не “итие”, а “уютно”, – как стая воробьёв, срывались мы с места и разлетались в разные стороны. Добравшись окольными путями и встретившись на другом конце села под огромным кедром, мы шёпотом друг другу говорили: “Уютно. Понял, не? Колдует, гад, ворожит чё-то. Не на нас бы. А то оглохнем или окосеем”. Так вот и бегали мы от кузницы и мимо неё, скрестив пальцы да сплёвывая трижды суеверно, а бегать тем маршрутом нам приходилось часто, на день-то сколько раз: на пляж кемской другого пути не было. А потом как-то ранним утром гнал пастух коров в село, заглянул в открытую на всю пята дверь онемевшей вдруг кузницы и увидел Александрова мёртвым – с пробитой молотком головой. Молоток, рассказывали, так и сидел в его большом, лысом черепе, а ноги кузнеца, говорили, были прибиты в щиколотках к порогу подковами, самим кузнецом когда-то и выкованными. Я всего этого не видел. Отец рассказывал маме, а я подслушал. Мне же на ружейный выстрел приближаться к кузнице в тот день было заказано. Лето кузница пустовала, а осенью того же года сгорела – кто-то

поджёт её нарочно. Нынче бурьян разросся буйно на том месте – стало где спрятаться нам, чтобы покурить...

Я выявляю смысл этого слова и вторю тебе бессознательно: уютно, – хотя плохо понимаю, применимо ли оно к саду? У нас вялые пальцы, соприкосновение которых напоминает мне о первых заморозках в Сибири в пору бабьего лета, когда очнувшийся бриз на большой реке с поверхностью не гладкой, а измятой набежавшей рябью сплетает ветви двух талин. Тяжёлые, уставшие у нас веки: мы не спали, мы бродили по острову, где запах берега и моря стоит незримою стеной. Так мы прощаемся: завтра тебя здесь уже не будет, не будет тебя вообще. Прищуришь глаза, дремлющей кошкой ты посидишь в кресле, я утомлюсь, изнемогу, речь иссякнет моя, я перестану нести этот вздор, и ты уедешь, улетитишь... или – умрёшь... или что там случается с образом? Так, а может быть, иначе, неважно, но связь, возникшая между нами, прервётся. Я обожаю, я люблю тебя. И неизбывна моя любовь к тебе: ты моё прошлое. Но знаю я, зыбка граница – тут осыпь, там пропасть – и нет дна у ненависти...»

Слов последних мальчик не разобрал: жирно и тщательно, так что даже нарушена хлипкая ткань листа, они забиты литерой «Х». Губы у мальчика толстые, но не пухлые, не железные, а тугие, вероятно, как резиновый кистевой эспандер. И поневоле уже думается, будто там, изнутри, на губах его и надпись рельефная имеется: «Эспандер, цена – 30 копеек». И номер ГОСТа. И что-нибудь ещё, неведомое, как текст песни древнего человека, уставившегося на

бегущую воду Днепра, Ганга или Евфрата. И мальчик уже читает:

«Час этот во времени осени и утра. Тихо в саду и свежо. Тосклив и прозрачен среди деревьев воздух – ждёт маршрутного ветра, чтобы поменять место своего пребывания. Тасуются в редяющих кронах непоседливые воробьи. В небе ни облака, ни птицы. Ни паутины. Ни суеты. В небе – заглавие месяца: сентябрь. Где-то дикуют оголодавшие за ночь чайки-рыбаки, где-то та-а-а-ам, недосыгаемы взору, не обременённые понятием предела: граница. И крадётся, тайком будто, будто тать, а не мысль: всё как по заказу – как музыка на кладбище или при регистрации брака, только заказывали не мы, а Господь, пребывающий нынче в благодушии. И совестно за себя, за мысль убогую совестно, и думать о другом пытаюсь, и думаю: там, за проснувшимися домами, – солнце, лучи его плавят окна мансард. От них, от окон, в саду светло, но не теплее – сад в бархатистой тени. И тень прозрачна, как воздух, но прозрачна она ещё и вот как: как бессонница от любовных переживаний, не ревностью вызванных, не безответностью, а утехой. Трава щетинится, в росе студёной. И сбита кое-где роса: спозаранку выгуливал кто-то собаку. Собака нам представляется крупной, и масть той собаки нам видится солнечно-рыжей, а шерсть на её мокрых от росы лапах – побуревшей. Ты ёжишься, ты прячешь кисти рук, втягивая их в рукава длинного, свободного свитера, и я испытываю к тебе ещё большую нежность: как к дочери-отроковице, напоминающей мать. Чуть-чуть всё же по-другому,

чуть-чуть, видимо, не так. Я будто ощущаю твоё озябшее тело – оно под пальцами моими, под губами. Возле души. И чтобы, сдерживая крик, не задохнуться, не ошалеть, я начинаю твердить про себя твоё имя. И обретает оно постепенно привкус и значение последнего дня, последнего слова. Последнего поцелуя. И ещё чего-то последнего. Иным, наверное, бывает чувство к дочери-подростку, которая напоминает тебе мать. На остров, откуда мы возвращаемся, пронёсся, лязгая и громыхая, первый трамвай. И ясно: звонок его – словно стекло вдруг рядом вдребезги разбилось – посвящён нам. Не верится, что он случаен. Сонно и скучно трамваеводителю: вагоны пусты – безлюдны. И вот, уж зрим будто, зрим влажный, только что помытый в парке пол двух вагонов. Воображается сам по себе, без принуждения, без надобности. И в кассах высунуты никем ещё не тронутые языки билетных лент с закодированными в них обещаниями счастья, несчастья или встреч. И капли воды на всём: на никеле, на стекле, на резине и на дерматине. И самые привлекательные, конечно, на стекле. И цепляемся мы глазами за аккуратное число “25”. Цепляемся без намерения его осмыслить. Просто цепляемся. Как вдыхаем и выдыхаем – машинально. Глаза устали на неподвижном. И проще всего глазам удержаться на ладном числе, тем более таком – “круглом”, юбилейном. Каким-то ещё? – не думается, не приходит на ум. Глаза, проехавшись, как будто отдохнули, и на мелкую охристую щёбёнку дорожки смотрят уже бодрее. “Двадцать пять”, – механически повторяет память. “Это уже не наш возраст”, – рассеянно думаю я.

И на мгновение проступает в моём сознании мой старый адрес: Карповка, 25, 25. И действительно: лишь на мгновение – мысль о прежнем моём жилье по сверкающим и слепящим глаза рельсам уносится за трамваем, будто затянута воздушным шлейфом. У сырой от росы скамьи в детских демисезонных пальтишках, в одинаковых, чёрных, потрескавшихся, как пересохшая глина, лакированных туфлях, переживших, похоже, помойку, две, как девочки лёгкие, – женщины, поднятые с лежбищ и обеспокоенные похмельем: озноб на губах, в членах едва уловимая со стороны трусца, пивом которую, конечно, не унять. Я мельком осознаю, что загадочна для меня их жизнь, загадочна той тайной, в которую и вникать нет желания. Я бегло дивлюсь тому, что от восхода, к которому лицом они обращены намеренно или нечаянно, вместо глаз у женщин тусклые огоньки, блики от которых безжизненно, как свет в прогорающей печи, блуждают по внутренним стенкам затылков. Ноги их без чулок, жиденькие, худосочные. Но ходучие, как у волчиц, – думаю я и замечаю, что только у тополей ещё лето».

Мальчик отвлёкся от текста и отыскал глазами тополя. Взгляд его беспокоен. Растерян. Растерянность и беспокойство еле отличимы в постоянно натуженном выражении лица: всё что-то будто и припоминает. Мальчик уверен, что тополь – дерево. Всё на своих местах, всё как вчера и позавчера, как тысячу лет назад. Мальчик прислушался к себе, успокоился, поник тяжёлой головой и стал читать дальше:

«– А Митя тут при чём? – спрашиваешь ты и следишь за жёлтым листом, отлетевшим от чёрной, витиеватой ветви уже не молодого клёна. И удивительно и печально в безветрии утра листа падение: вздохнул и умер. И жалость, может быть, только там, в едва народившейся почке? “Жалость” как слово, обозначающее чувство почки, в данном случае заменимо, но вариантов для замены не ищущу. И понимаю: о чём-то другом, далёком, не имеющем ни ко мне, ни к саду отношения, мысли твои. И слушаешь ли? И столько глупого, пустого уже было сказано мной в эту ночь, а сколько ещё скажу! – что мне теперь всё равно, и говорю:

– А Митя тут вот при чём. Митя безрукий, и с умом скудно у Мити, словом, так, что и городьбы не наведёшь...»

Второго листа нет, а следующий лист отмечен сверху цифрой три. Мальчик рассеянно проводил глазами просеменившую мимо болонку. Болонка, из озорства навверное, потявкала на вывалившийся из круга клумбы кирпич и исчезла за кустами шиповника. Мальчик опять уставился на цифру три, после чего перевёл взгляд на первую строчку – и губы его задвигались, так, будто неохотно, лишь от безделья резиновым эспандером занялась невидимая рука.

«– У Мити, – говорю я, – левой руки нет по самое плечо, а о состоянии его мозгов я и сказать что-либо затрудняюсь. Потому, – говорю я, – потому, что сам Митя, с кем бы ни говорил, кого бы ни остановил среди дороги для беседы, всякого уверяет, будто в тот момент, когда ухнуло и когда старший сержант

Готя Сирош, успевший произнести: “Ну, блямс, вот шо, рядовой сибиряк Митрей...” – полетел в одну сторону, то он, Митя, подошвами сапог обратясь к тверди небесной, от взрыва вроде как и треснувшей, в другую – догонять руку свою, котелок так и не выронившую. А в конце беседы каждого Митя спрашивает, не видел ли тот, не слышал ли где чего про руку, с котелком летающую, вдруг. И смотрит пытливо на собеседника, и помогает ему припомнить: а на руке татуировка, мол, такая: солнце всходит, лучи пускает, и “СИБИРЬ” большими буквами, а в котелке, дескать, каша гречневая и шмат тушонки в ней американской, и не вкусной и не запашистой...»

На этом прервалось. Третий листа снизу чистая. А номером следующего листа вновь оказалась тройка. Лоб мальчика съёжился. На носу и на толстенькой шее его выступил пот. Мальчик боязливо огляделся, затем начал читать:

«Митя здесь вот при чём. Был – у тебя, вероятно, тоже – был у меня, – говорю я и понимаю, что прервать, остановить себя уже не смогу, – был у меня в детстве конопатый приятель. Веснушки у него тесно, но весело ютились даже на пятках. Только на ногтях у него, наверное, не было веснушек, но не утверждаю, потому что тогда особенно не приглядывался, а теперь и не вспомню. И вот однажды мой конопатый приятель высказался примерно так:

– Людей на земле, парни, сиксильён, в самом большом-пребольшом муравейнике, клянусь смертью баушки, мурашей меньше, чем людей на земле.

Мы промолчали, представляя “сиксильён” – как это много?

А потом мой приятель сказал:

– Я позавчера, парни (было нам тогда лет по одиннадцать-двенадцать), на тятином велике катался... под рамой, здря свистеть не буду, – и всем нам по очереди разрешил дотронуться до шишки на своей вихрастой макушке: – Не упал, а тятя приглубил, козанком, как молотком, тюкнул.

За то, что восьмёрку, мол, поставил. Так объяснил нам, а затем добавил:

– А восьмёрка капитальная, хрен тятя из неё обратнo нуль сделать. Новый обод пусть поищет, не фиг шишки на башке мне ставить.

И уж после этого, солидно затянувшись из краденных мной у моего отца папиросок “Север”, мы услышали:

– Баушка про Митю говорит, что таких контуженых, как он, на каждую сотню один свой, но контуженней, чем Митя, нету во всё белом свете... Она ему троюродная тётка, – выпустил Охра, задрав голову вверх, с присвистом из себя дым и продолжил: – Брешет, может, что уж самый... Митя ей, богомолке, шесть рублей ещё с прошлой Пасхи должен. А у Мити хвост скорее отрастёт, или рука заново, чем он про долг вспомнит. Лучше бы пряников и газировки мне на эти шесть рублей купила... или складник, – сказал так и отправил в небо ладное колечко дымное.

А про него, про внука, она, его бабушка, Аграфена Денисовна, говорила: “Вот змеёныш, вот де чинарик-то замызганный, трёх классов, шшанок, по-путнему ишшо не окончил, а курит, сопляк,

взятяжку, просмолился, как старый хрен, дыхнуть в избе нечем, как на конюховке”. “Старый хрен” – это она про деда. Дед его, Охры, Георгий Васильевич, и спал с трубкой в зубах, как с оберегом. Привык к ней, сросся с трубкой, а потому и чувствовать её переставал, как нос свой, скажем, или уши, а потому и терял её постоянно. Ищет, ищет, матерится, так что извёстка с потолка осыпается, а потом завернёт что-нибудь уж вовсе нестерпимое и закашляется – трубка изо рта у него вылетит, по полу забрякает, тем себя и обнаружит. И не только он, дед Охры, но и все домочадцы к трубке привыкли, всей семьёй иной раз её, с ног собьются, ищут, пока в дурных глаголах дед, хозяин трубки, не закашляется. И он, Охра, по имени Вовка, помогал частенько деду в этих поисках. Не за просто так, конечно. За деньги. На кино как будто, а на самом деле... ну, понятно, мало ли вкусного в магазине было. Дед на “вкусное” не дал бы. Не давал и “на кино”. А для нас, мальчишек, тогда что контуженый, что дурак означало одно и то же. Было ещё одно слово: “дундук”. Мы и друг друга, если обиднее хотелось выразиться и злее, называли не дураком и не дундуком, а контуженым. И ещё как-то, ссорясь, называли мы тогда один другого, но не всем словам тут место. Одно на лету перенимали мы у зэков, бывших лагерников, работавших в Каменске и ожидающих разрешения выехать на родину или куда глаза глядят, другому, вовсе уж нецензурному, учил нас дед Андрей Хромов, облачившись в шапчонку, похожую на что угодно, только не на шапку, по большим праздникам – в кубанку, “пимы”, “куфайку” и казацкие штаны с жёлтыми

вылинявшими лампасами, ни днём ни ночью, как мы думали, не покидавший тогда завалинки своего дома, в раскрытое окно которого то и дело высывалась бабка Марфа, девятая или десятая его жена, и, обмахнув ссохшийся рот уголком платка, кричала по своей и мужа глухоте на весь околоток: “В избу-то сёдня, матершинник, думашь-нет идти?!” А от деда Андрея до неё и внимания было столько: ноль. А бабка Марфа и не ждала ответа, скажет должное, положенное рангом, освободит язык и канет там, в потёмках комнаты. Помолчит дед, пока неразборчивый гул бабкиного голоса в ушах осядет, почмокает мундштуком погасшей трубки в виде чёрта с его бесовским срамом во всех подробностях, а потом нам и заявит:

– В лес без ружья и без собак не суйтесь, рабятишки, нонче. И не здумайте.

А мы уж и знаем наизусть почему. А потому что:

– У старухи у моей зверок под юбкой до вчерашнего дня квартировал, злой и лохматый, – всё сплошь в шарсти, глаз не видать... но (“но” по-каменски – это “да”). Тут, третьеводни, вдруг осатанел в конец от безделья, взял вдруг, холера бы яво, да и убёг и рышшет таперича по тайге, срыват свою злось на деревьях, гложет их, подлец, от бешенства... да рабятишек ловит, а уж как, варнак, зацапал какого, так и прошшай, паря, имушшэство – под корешок яво оттяпат, но, – и снимет дед Андрей шапчонку, и растянет её двумя большими пальцами в образ лодочки, и скажет: – Там и корысен ли зверок-то, а как опа-асен: зубы вострые, как бритва, одно слово – кунка, – и луч солнца в вылинявших ресницах деда не путается, в слезе

между ними переломится и обратно туда – в небо. И спит уж, видишь, дед, шумом нашим ничуть не беспокоясь, ведёт его сон по топким тропам или зыбким мосткам – ноги его, в “пимах”, трясутся. Глаз приоткроет неожиданно, закроет его снова, пробурчит: – Дивчонок – тех не трогают. – Знаем мы ответ, но всё же спросим: дед Андрей, а почему, мол? – Потому што мокрошшэлки, вот имя пошто-то брезгат.

И бабу Марфу пережил дед Андрей, и ещё раз женился, ещё раз и овдовел привычно, но помер всё же, “успокоился”, и дом свой пятистенный последней старухе, обрядить его обещавшей, оставил, дом, говорят, и денег – рублей “ча-гы-ы-ряста”. Но в памяти моей – не на завалинке как будто, а на облаке – дед Андрей и по сей день сидит. Долго сидеть ещё намерен – место у него тёплое. Пусть сидит. Ведь и мне, в одиночестве остывающему, от этого теплее.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА